

М и х а и л Б а р у

С Л О В А В П Е С Н Е С В Е Р Ч К О В

* * *

Перед первым, мягким и пушистым снегом, на котором остаются следы, идет снег предварительный. Вот как перед полетом Гагарина или даже перед Белками и Стрелками летали в космос безымянные жучки и мышки, от которых только и остались номера в лабораторных журналах космических врачей. Такой снег до земли не долетает и состоит на одну половину из снежинок с двумя или тремя недоразвитыми лучами, а на другую из воды. Падает он так тихо, так незаметно, и от него бывает такая тоска, какая бывает только от пустой бутылки водки или от кактуса, который три года собирался зацвести, но вместо этого засох, или от окурка в горшке с засохшим кактусом, который стоит в окне, за которым уже идет первый снег — мягкий и пушистый.

* * *

Ночью на опушке леса тихо и совсем не страшно. Пронизывающего ветра, дувшего в поле, нет, редкие снежинки падают, падают и никак не могут упасть, тишина стоит такая, что слышно, как ледяное черное небо над черным лесом потрескивает от мороза, видно, как в щелях между глыбами появляются и пропадают звезды, и, если бы не многочисленные цепочки заячьих следов, которые запросто могут принадлежать и волкам, и кабанам, и даже медведям...

* * *

Масленица. Снег с дождем из низких свинцово-серых облаков, покрытая соленой снежной кашей площадь перед Историческим музеем, белое пластмассовое дерево, увешанное разнокалиберными стеклянными бутылками, наполовину заполненными подсиненной водой, маленькие дети, замороженно стучащие по этим бутылкам и друг по дружке пробковыми шариками, насаженными на длинные палочки, мальчик лет пяти возле киоска с петушками, которых ему не купили, силящийся зарыдать изо всех сил и искрививший губы сковородником, мамаша, уже достающая из кошелька сто рублей, продавец петушков, с понимающей ухмылкой глядящий на мамашу и говорящий ей, не разжимая губ: «И чего, спрашивается, было ерепениться — все равно его возьмет», — женщина в красном пуховике, фотографирующаяся с высоченным рыжебородым мужиком, обряженным в разноцветные скоморошьи одежды и рогатую шапку с бубенцами, муж женщины, изогнувшийся перед ней с огромным фотоаппаратом в руках, мангал, на котором подрумянивается десяток индюшачьих ног размером с бараньи, девочка с косичками, обхватившая купленную отцом ногу руками и собирающаяся ее надкусить, а потом отдать отцу со словами «Папа доешь — я больше не хочу», — хохочущий юноша в длиннющих полосатых штанах, прикрывающих ходули, дети, хватающие его за штаны, румяный толстощекий мальчик со следами варенья, сметаны и красной икры на лице, уписывающий румяные толстощекие оладьи, мужчина у расписного киоска, с блаженной улыбкой на лице слушающий, как звенит серебряный колокольчик ручной работы, привезенный на ярмарку из Воронежа, жена мужчины, показывающая ему пальцем на цену колокольчика и говорящая: «Пойдем, у тебя дома этих колокольчиков... Хочешь, я тебе баранку куплю? И моего любимого варенья из айвы с корицей. Давай уже, оторви от себя колокольчик и пойдем», — огромный хоровод из детей и взрослых, ловко управляемый женщиной-аниматором в разноцветной войлочной шапке, по фасону напоминающей помесь буденовки с кокошником, обвешанные фотоаппаратами китайские туристы, идущие в этом хороводе и старательно притоптывающие в такт плясовой мелодии, чем-то неувлимо напоминающей «Семь сорок».

* * *

Оттепель. Настроение, еще вчера застывшее на морозе до голубых игольчатых и сверкающих кристаллов, теперь подтаяло и растекается большой черной лужей, из которой пьют воробьи, в которую уже кто-то бросил окурок и обертку от «чупа-чупса», по которой идут, брызгаясь во все стороны, прохожие в резиновых сапогах, и проехала божья коровка «Матисса» с надписью «Пицца», и дворник, у которого на небритом лице написана экзистенциальная тоска по ста пятидесяти... нет, по двумстам граммам водки, бутылке пива и двум килькам на горбушке черного, разматывает остатки этой лужи по лоснящемуся жирному асфальту, усыпанному крошками противогололедного реагента.

* * *

Второй час ночи. Дом спит. Тихо. Только к соседу пришла его подруга и монотонно стучит ногой в его железную дверь, монотонно повторяя «Витя, б...ь, открой...». Только сосед открывает, наконец, дверь и начинает кричать своей подруге «Какого х...а ты долбишь в дверь среди ночи, всех соседей, сука, перебудила уже». Только соседка не может остановиться и все повторяет и повторяет «Витя, б...ь, открой...» Только во дворе, в густом тумане, истошно играет в чьей-то машине музыка и кто-то поет мужским женским голосом «Ну пришли хотя бы смайлик на мой одинокий серебристый телефон». Только мотоциклисты с диким ревом проносятся по улице взад и вперед, соревнуясь в том, кто первый проломит себе голову, врезавшись в фонарный столб. Только туман, такой густой и такой плотный, что лучи света от фонаря не разбегаются в разные стороны, как обычно, а образуют густую пушистую белую одуванчиковую шапку вокруг лампы. Только мысли такие сонные, такие спутанные и такие неповоротливые, что не разбегаются в разные стороны, как обычно, а образуют вокруг головы... но в зеркале этого не видно, даже если направить свет лампы прямо на то место, где когда-то были волосы. Только сосед...

В начале мая беспокойство и охота к перемене мест овладевает тобой до такой степени, что даже замена часов на наручный компас не помогает. Сначала просто смотришь на полуоткрытые клейкие почки, потом выше на зеленую дымку и еще выше, в небо, на облако, похожее на Южную Америку, на прилетающих уток, потом чешешь в затылке, потом начинаешь искать в дровяном сарае весла, потом якорь, потом насос, потом доски сидений, потом достаешь с чердака лодку, потом разворачиваешь и на всякий случай надуваешь ее на лужайке перед домом, потом снова ищешь чертов якорь и снова не находишь его, потом велишь жене, чтобы взяла ненужные старые зеркала и бусины для того, чтобы выменивать на них у аборигенов предметы их рукоделий вроде ковриков из разноцветных ниток, какую-нибудь мелкую пластику, битую птицу, яйца, кроликов и молоко со сметаной, потом долго споришь с женой, которая считает, что у аборигенов из мелкой пластики только дети и выменивать их лучше всего на водку, а не на зеркала, потом говоришь себе, что и без якоря можно обойтись, а вот без сосисок, пирогов с капустой и термоса с чаем никак, и велишь жене приготовить их и положить в багажник машины, потом... да провались он пропадом, этот якорь, который наверняка утонул в пруду еще в прошлую навигацию, потом запикиваешь в машину лодку, весла, насос, жену с сосисками, потом выезжаешь за ворота, и тут теща выносит к машине якорь, который лежал в беседке, в тумбочке под самоваром, завернутый в старую наволочку, потом возвращаешься, берешь якорь и снова выезжаешь за ворота, едешь к озеру, выгружаешь лодку, жену, весла с сосисками, надуваешь лодку, грузишь в нее все, что грузится, забываешь якорь в машине, потом отталкиваешься от заросшего камышами берега веслом и плывешь по разлившемуся озеру, по облакам, мимо торчащего из воды топляка, на котором сидит чайка и чистит перья, мимо любопытной выдры, по направлению к заливу, в который впадает извилистый ручей, чтобы по нему по высокой воде подняться до умирающей деревни, и все это только ради того, чтобы во время плавания представлять за поворотом ручья не полумертвую деревню, не десяток покосившихся деревянных изб, крытых растрескавшимся от времени шифером, не хмурых похмельных мужиков и черных старух, не тощих коров и сонных кур, не брошенный ржавый остов

«Жигулей», не заросшие борщевиком развалины коровника, не старенький трактор «Беларусь», который, заваливаясь на одну сторону, из последних сил пашет чей-то огород, а руины античного храма, или необитаемый остров с зарытым на нем пиратским кладом, или высокие горы со снеговыми шапками, или замшелую башню готического замка, обсиженную, точно мухами, приехавшими из города отдыхающими, жарящими шашлыки, перегородившими весь ручей сетками с пивными бутылками, орущими «А белый лебедь на пруду качает павшую звезду», которых хочется... но нельзя, потому как это будет мало того, что негуманно, но еще и противозаконно.

Впрочем, все эти зеленая дымка, полураскрытые зовущие почки, теплый ласковый ветер и мечты были вчера, а сегодня идет ледяной дождь, состоящий на три четверти из снега, и хитрая собака, которой ты вынес из дому куриные косточки, не бросается тебе навстречу, но делает вид, что спит в своей будке без задних ног, а сама при этом только и ждет, чтобы ты...

* * *

Как стемнеет, одеться потеплее, выйти во двор, чтобы послушать соловья, поющего у пруда, поворошить палкой несколько уже упавших в пруд звезд, сесть на скамейку, почесать за ухом немедленно оказавшуюся рядом собаку и — вместо того, чтобы заслушаться, засмотреться на собственное окно, освещенное изнутри настольной лампой, воображая за тюлевыми занавесками камин вместо электрического обогревателя; висящую на стене вместо отрывного календаря картину маслом, изображающую маленький средневековый городок где-нибудь в Тоскане или Умбрии; дубовые книжные шкафы, уставленные старинными фолиантами, переплетенными в тисненую телячью кожу, вместо нескольких пачек старых журналов, сваленных в углу; висящее над кожаным диваном бельгийское охотничье ружье с серебряной насечкой вместо дешевого китайского спиннинга с запутанной навсегда леской; и вместо компьютерного стола с ноутбуком, на котором, кроме ноутбука, еле-еле умещается кружка с чаем, а чай с коньяком уже не втискивается; большой письменный стол, обитый зеленым сукном, с тяжелой хрустальной чернильницей, ножом для разрезания бумаги, песочницей, с насто-

ящим Иваном Сергеевичем, сидящим за столом в кресле и задумчиво вертящим в пальцах гусиное перо, — воображать, как он пишет не какую-нибудь ерунду о майской ночи, не о соловье, поющем у пруда, не о звездах, падающих с шипением в воду и оставляющих рваные черные дыры в зеленой ряске, а о маленькой собачке, которую приказала извести злая барыня, как повел ее топить несчастный глухонемой дворник, как бросил в воду, как ее спас нырвавший мимо мальчик, как она выросла, как окончила экономический или даже юридический институт в Москве, как удачно вышла замуж, устроилась на работу в хорошее место, но спуталась с каким-то театральным продюсером из провинции, бросила мужа, место главбуха или нотариуса, уехала с продюсером в другой город, стала домохозяйкой, потом продюсер поехал в Москву набирать труппу и там бог знает от чего скоропостижно умер, а она вышла замуж за человека, продававшего лес за границу, потом умер лесоторговец, то ли простудившись оттого, что зимой без шапки давал взятку таможеннику, то ли оттого, что перешел другим лесоторговцам дорогу в неполюженном месте, то ли простудился до смерти оттого, что перешел, и она стала жить с ветеринаром, снимавшим у нее комнату, и воспитывать его ребенка от первого брака, и все бы ничего, если бы ветеринар не приучил ее пить медицинский спирт, и она допилась до такой степени, что теперь скачет вокруг скамейки и сует мне в нос свой перепачканный влажной землей и травой мячик, предлагая поиграть с ней в темноте, в двенадцатом часу ночи на берегу полного звезд пруда, в то время, как соловей поет так, что заслушался бы, если бы...

* * *

Полнолуние. Под утро — дурной, бесконечный сон, полный острых осколков разбитых вдребезги чайных чашек. Просыпаешься, ворочаешься, ворочаешься и, наконец, встаешь и выходишь во двор посидеть в беседке и успокоиться. Во дворе уже солнечно, и тепло, с каждой минутой становящееся теплее. Малиновка поет, жук жужжит, яблоня цветет, флоксы в саду пахнут, и собака подбегает, чтобы ты ее почесал за ухом. Тебя отпускает, ты протягиваешь руку, чтобы погладить собаку... и краем глаза замечаешь, как пчела ползает по скошенному вчера одуванчику. По

совершенно мертвому одуванчику. Ползает, ощупывая лапками десятки его мертвых и желтых, начинающих загибаться внутрь, окоченевших трупным окоченением ресничек. Точно ищет среди них живые. И не находит. И тут ты понимаешь, что сейчас пойдешь на кухню и включишь воду, чтобы рассказать бегущей воде свой ужасный сон. Как только расскажешь — так он сразу и уйдет с этой водой. О том, что все это глупости и дикие суеверия ты тоже понимаешь, потому что уже очень давно взрослый, потому что образование у тебя естественнонаучное, потому что ученая степень... Потому что полвека назад нянька тебе говорила, что нужно рассказать плохой сон бегущей воде — ручью, реке или хотя бы той, что бежит из-под крана, и поэтому ты сейчас идешь, ругая себя на чем свет стоит, вспоминая няньку, которая кормила тебя кашей, которая играла с тобой в подкидного дурака, которая читала про волка и семеро козлят, которая засовывала во втором классе под твою подушку учебник по арифметике, чтобы лучше запомнилась таблица умножения, и которая наливала тебе на день Победы в рюмку со сладким чаем чайную ложку водки, и у которой ты в последний раз на кладбище был...

* * *

Поездной купейный уют один из самых уютных уютов. По шкале уютов он гораздо выше печного, но чуть-чуть не дотягивает до пододеяльного. Сидишь в углу, у окошка, за которым несется Русь, не дающая даже себе ответа в том — куда, на откидном столике стоят стаканы в подстаканниках с мелко дрожащими ложечками, в левой руке у тебя непременно куриное яйцо, сваренное вкрутую, или куриная нога, а в правой стакан с красным или белым вином, которым ты рассказываешь соседям по купе смешную историю, приключившуюся с тобой лет пять назад... или десять, когда ты работал космонавтом... или главным режиссером в театре... или на орбите... или не с тобой, но очень смешную... Вагон вдруг качнется вправо, качнувшись влево, и ненароком прислонит тебя к соседке, ради которой ты, собственно, все это и рассказываешь.

* * *

К вечеру, перед тем, как ужинать остатками кролика, тушеного в сметане, и пить чай с абрикосовым вареньем, оденешься потеплее и пойдешь прогуляться в поле, заберешься на холм, поросший ромашками, давно высохшим иван-чаем и еще цветущим зверобоем, станешь слушать, как пронзительно поют сверчки, как еле слышно жужжит где-то за облаками самолет, и думать, что все могло бы быть по-другому. То есть вообще все с самого начала или хотя бы с середины. Стоял бы сейчас себе на совершенно другом холме, под совершенно другим небом, посреди другого поля, на котором растет другой иван-чай, другой зверобой, другие ромашки и совершенно другой самолет невидимо жужжал бы за другими облаками. Стоял и думал бы, что все могло быть совершенно по-другому... Может, конечно, и не все, но кролик мог бы быть тушеным в красном вине, а не в сметане, и варенье быть не абрикосовым с миндалем, а... Ну, хорошо. Черт с ним, с вареньем. Пусть будет абрикосовым. Пусть будет даже с миндалем, но уж слова-то в песне сверчков точно могли бы быть другими.

* * *

...и уже после того, как уложишь спать всех кур, как накапаешь валерьянки петуху, как расскажешь телянку сказку на ночь, как перекрестишь чижика, как накормишь сырной коркой многодетную мышь, растящую без отца третью неделю четверых детей под плинтусом в кухне, как не опустишь в погреб картошку, которую велела опустить жена, прошмыгнешь под толстое лоскутное одеяло к теплой стене у печки, свернешься калачиком, закроешь глаза и под закрытыми глазами станешь тихонько мечтать о том, как приделаешь к одному боку ракеты луноходные колеса, к другому — весла для воды и мачту для паруса, а к третьему трубу для маленькой буржуйки, как возьмешь с собой рыболовных крючков, грузил, блесен, ружье, утиной дробь, медвежьих, кабаньих и лосиных патронов, связку вяленых щучек, копченого леща, сушеных белых и ржаных сухарей, бутыль... нет, две калгановой, коробку чаю, сахару кускового, баранок, семечек, спичек, как выберешь ночь пояснее, как все тихонько



погрузишь, как позовешь с собой собаку, как задраишь люк, как потом отдраишь обратно, как сбегашь за мышью и всеми четырьмя ее детьми, включая самых младших и непутевых Костика и Таню, как снова задраишь, как повернешь ключ на старт, как включится зажигание, как... не сразу взмоешь вверх, а сначала острым белым пламенем из кормовых дюз спалишь к чертовой матери проклятый курятник, теплицу, превратишь навозную и компостную кучи в угольные и только потом возьмешь курс на правый верхний угол неба, где, как говорил приезжавший к соседу из города сват, работающий охранником в планетарии, больше всего звезд, похожих на солнце и пригодных для жизни планет...

